

16.03.96

Довлатов Сергей

Дмитрий Бобышев

Мемуары

ПОДРОСТОК с длинными руками и ногами, юноша, на голову, на две головы возвышающийся над толпой на Невском проспекте, — таким я впервые увидел Довлатова, еще не зная его. Я подумал: вот идет баскетболист из несуществующего белого Сенегала, и стал воображать ему олимпийское будущее. Эти фантазии были настолько конкретно-зримы, что у меня в голове даже успели прокатиться кинокадры о его поездке (тоже, конечно, воображаемой) на соревнования в Рейкьявик — флаги, аэропорт между утробных сопок, крашенные домики... Потом я узнал, что он действительно мечтал о спортивных успехах, подался почему-то в боксеры, но настоящего спортсмена из него, к счастью, не вышло. Я тогда рассказал ему об этих первых впечатлениях: «подросток с длинными руками и ногами...», но, заметив его смущение, сообразил, что тут-то я не прав, что руки у него как раз коротковаты — обстоятельство, решающее для боксерской карьеры. А не то — быть бы ему на ринге самым вежливым, самым интеллигентным из всех кулачных бойцов.

Познакомила нас героиня его романа в прямом и переносном смысле — черноокая, спокойная, настоящая красавица филологиня (позднее выведенная Довлатовым под именем «Тася»), которую я увидел впервые в Андреем Вознесенским. На следующий день, пока я еще живо помнил это яркое явление, ко мне пришел Бродский и привел ее с собой. Скоро Иосиф уехал в геологическую экспедицию, и она, позвонив мне, зашла в гости и привела своего нового друга — Сергея Довлатова. Его я поторопился усадить в кресло — мне показалось, что общаться с ним будет трудно из-за его громадного роста, да еще при красавице. Но тут же неловкость исчезла навсегда: с таким говоруним и стоять, и ходить рядом оказалось необыкновенно легко и весело. Он стал забредать ко мне с «Тасей» и без нее, и разговаривали мы долго, неизменно и упоенно о том, что оба любили больше всего на свете: о литературе. Он уверял, что не пишет, я его уговаривал начать, он отвечал, что не я первый это ему говорю. Между тем его устные рассказы были ярки, психологически точны и тонко-забавны. Он оказался в родстве и, через это, в близком знакомстве с литераторами хотя и мелкого разбора, но набирающими известность. Их дремучая необразованность, языковая глухота были главной мишенью довлатовских насмешек. В частности, фигурировал в них Валентин Пиккуль. Я и сам с ним как-то виделся у Косцинского, и он отнюдь не показался невеждой, но чем знаменитый Пиккуль становился, тем смешней были довлатовские рассказы о нем.

Вообще чрезмерность была свойственна Довлатову не только в росте, но и во многих других жизненных проявлениях. Наше многолетнее общение не раз прерывалось: то его армейской службой, то его жизнью в Таллине, то не совсем совпавшими «хронотопами» нашей эмиграции. В памяти оно распалось на целую серию разговоров эпизодов, сначала в виде бесед и совместных прогулок, потом — литературных застолий, которые попервоначалу приносили острое интеллектуальное наслаждение, а затем и немало огорчений, когда винный дух стал все чаще возблудать над духом нашей дружбы — иными словами, когда выпивки становилось все больше, литературного остроумия поубавилось, а сам Довлатов оказывался опять же не в меру, по-достоевски «широк». Я, например, узнал от него, что одна замужняя дама, известная мне, хороша с ним. И другая тоже. Назывались имена, причем при свидетелях; упоминались детали. А ведь и сам он был женат уже

вторым браком, имел ребенка... Однажды я не выдержал этого — набросился на него, мы стали бороться. Неожиданно Довлатов рухнул, и это было потрясшее зрелище... Он как бы перешел в другое измерение: вся его высота превратилась в длину; в противоположном углу комнаты брянулась на пол фарфоровая чашка, семейная реликвия. Хозяйка сокрушалась о чашке, а я объявил о своей победе над «гигантом на глиняных ногах», что было, увы, преждевременно. Сергей поднялся, на ходу отредактировав мою фразу: «Колоссом на глиняных ногах называли Советский Союз немецко-фашистские полчища, потерпевшие в конце войны сокрушительное поражение», — затем навалился всем своим весом и попросту задавил меня до бездыханности.

Все-таки понять его было сложно: зачем он так позорил своих подруг, раскрывая секреты их похождений? Для утверждения своего мужества? Или — чтоб раззадорить слушателей? Но теперь я думаю: а может быть, приятельницы и сами были не прочь покрасоваться в его описаниях? Убедила меня в этом недавняя публикация писем Довлатова к вышеупомянутой даме, которая была хороша. Она в предваряющей заметке сообщает, что, мол, некоторые письма носят сугубо личный характер, и их время не пришло. Да, но как

но представить, но Довлатов служил в лагерной ВОХРе!

Лагерь или армия — и та, и другая доля мало кого привлекала, а Довлатову они достались сразу обе. Когда он вернулся, при разговорах из него так и выпрыгивали экзотические истории, одна жутче другой: о шахматной партии, буквально проглоченной зеком, о зашитых драгово веках и т.д., но вскоре появилась и первая проза. Это была совершенная и, как стихи, законченная миниатюра «Псы», от которой зашевелились волосы. Мне вообразилась целая серия таких рассказов, затем книга, выпущенная за рубежом, и... еще один герой и мученик, крупный писатель, гонимый режимом. Но Довлатов, как он многократно заявлял, мечтал лишь о том, чтобы стать профессиональным писателем...

Однажды у меня в гостях на Петроградской стороне собралась литературная компания; бывшие политические заключенные Наталья Горбаневская и Кирилл Косцинский, и недавний надзиратель Сергей Довлатов. Косцинский не преминул тут же прицепиться к Довлатову: «Думал ли я в лагере, что буду пить с «попкой»? А вот, с удовольствием, пей!» Попутаями зеки называли охрану. Где, как не в той ситуации, было бы применимо излюбленное речение Сергея: «Обидеть Довлатова легко, понять его

увы, по крайней мере, некоторые из его наветов на себя подтверждались извне. В его разговорах появились такие сюжеты, как слежка за ним госбезопасности, книжные кражи, задержания в милицеских кутузках... Он, оказывается, очаровывал библиотечарш и выносил под одеждой огромное количество книг. Даже попытался похитить две картины в Доме актера на Невском... Однажды у меня дома он вытащил из кармана кастет, и я изумился — и оттого, что писатель, как уркаган, носит это мрачное оружие, и оттого, что кастет — пластмассовый, а не свинцовый, как можно было бы ожидать. «Плексиглас», — пояснил Довлатов. — Милиция, если найдет, не любит свинчатки. А здесь главное не тяжесть, а конфигурация... Таким можно и сквозь пыжик голову проломить».

С другой, положительно-сентиментальной стороны, кто-то (нет, не я, кто-то еще) познакомил его с Львом Друскиным, и он начал трогательно ухаживать за увечным поэтом: вывозил его в кресле на прогулки, подарил ему огромную теплую куртку, чтобы укутывать его от холода. Но вскоре эта идиллия закончилась самым нормальным безобразием: Сергей отъезжал Друскиных в Комарово на литфондовскую дачу (кстати, ту самую, прославленную Ахматовой «будку»), а затем устроил в их городской квартире

совсем, что ему зашили «вот сюда» так называемую торпеду. В другой раз уверял, что очень даже выпивает, но лечится: мать выдает ему деньги на гипнотизера, а он вместо того отправляется тут же за бутылкой. Как бы то ни было, а писал он хорошо и много. Выходили его рассказы в переводе на английский; в его повестях появились, помимо российских, и эмигрантские, и чисто американские образы — это началось наша заокеанская жизнь, то есть та «перестройка», которая поджидала на Западе каждого эмигранта задолго до того, как она началась в России.

Он был писателем не только в художественной прозе, но и в журналистике — я имею в виду колонки в еженедельнике «Новый американец», который он возглавлял. Каждый выпуск открывался его небольшим эссе, всегда одинаковым по объему (одна машинописная страница) и безупречным по форме — это были те чеховские капли, по которым он выдавливал из себя раба, делая это, скорей, не для себя, а для читателей — вырвавшихся на волю поселенцев Брайтон-Бича, бывших одесских биндюжников. Конечно, их умозрения часто влияли на тематику довлатовских эссе, но и при этом редакторские колонки были, пожалуй, самыми интересными материалами. В остальном — то была газета, всю заискиваю-

ПОНЯТЬ ДОВЛАТОВА ТРУДНО...

Независимая газ. - 1996. - 16 марта. - с. 8

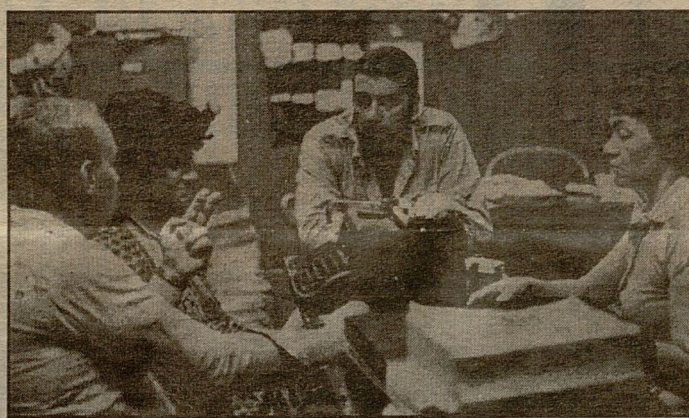
А на бумаге ему было свойственно удивительное чувство меры

удержаться и не опубликовать такое, например, великолепие, обращенное к ней: «Целую ладони, стопы, длань, выно и прочую мелочишку»?

...Папаша Хем, которого мы «лорнировали» и снобирили из-за того, что его изображение в толстом свитере продавалось в газетных киосках, все-таки выразился точнее: «Мир убивает... самых добрых, самых нежных и самых храбрых без разбора». Не уверен насчет именно этих свойств, но во всех непомерностях Довлатов-то и был самым, самым... и высоченным, и здоровенным, да и самым, пожалуй, молодым из участников тогдашних литературных компаний, например, той, куда он меня пригласил и вовлек. Там были престелные люди, заменившие мне общение с Бродским, который стал для меня соперником и даже противником; с Рейном, взявшим его сторону, и с переехавшим в Москву Найманом. То были умный даже во хмелю Арьев, про которого говорили, что это он, редактируя, «создает» Довлатову стиль, талантливые прозаики Чирсков и Севостьянов, ревниво обожавшие своего друга, над которыми он снисходительно посмеивался: «безумный Федька», или: «деревенский фрейдист».

А на бумаге ему было свойственно удивительное чувство меры, даже стилистической элгантности, и великолепное, гибкое чувство смешного. При том, что писал он о грубом абсурде, из которого слепана жизнь, порой о страшных вещах, он, насколько я помню, не злоупотреблял сильными стилистическими средствами.

Конечно, на первых юношеских порах он был покорен Аксеновым, его «Звездным билетом». Об этом не говорилось, но было видно: ведь сам Довлатов повторил путь «звездного мальчика», отправившись на запад, в Таллин, круто разойдясь с торными путями того времени — на восток, в Казахстан и Сибирь. Но со временем его настоящим кумиром стал Сэлинджер, в особенности восторгался рассказом «Посвящается Эсме» в исключительно хорошем переводе (по-моему, Райт-Ковалевой). Я тоже наслаждался этой чудесной прозой, но Довлатов, очевидно, испытывал тут особенное, личное чувство: ведь герой Сэлинджера — интеллигентный, застенчивый солдат с увольнительной. Стран-



Сергей Довлатов в редакции газеты «Новый американец». Фото Нины Аловерт

гораздо труднее? Он его и произнес, но увы... «О себе? В третьем лице?» — начал было напирать Косцинский. Я срочно откупорил бутылку, и разговор покатился в другом направлении.

Довлатов не был писателем-теоретиком, но в разговорах высказывал соображения острые и совсем не прикладные. Например, утверждал, что образ — это уже и есть мысль. Убедительно говорил о влиянии языка переводной литературы на современную нам прозу — больше, чем влияние русской традиции и классики. И приводил примеры американских влияний — на Аксенова, да и на себя самого. Задавался вопросом: «Возможно ли такое же явление в поэзии?» Ждал от меня ответа, но на мгновение раньше сам же его и находил — Бродский. Им он восхищался, превозносил до небес его успехи, от остального отмахивался: «В стихах я ничего не понимаю». Но, конечно же, понимал и из своей прозы изгонял все именно поэтическое, так же в ней неуместное, как, например, междометие «чу!», над которым потешался.

В последние месяцы перед отъездом в эмиграцию Сергея понесло по ухабам, причем уже и без тормозов. Так, вероятно, он изживал из себя все — и плохое, и хорошее, что связывало его с тамошней жизнью. Встречи с ним стали пугающими — было страшно за него, страшно за то, что он начал с собой вытворять. Может быть, он и нагнетал это чувство сознательно, как в той самоэпиграмме (мол, смотрите, какой я нелецеприятный!), но,

грандиозную вечеринку с молодежью. В результате, конечно, пострадала посуда и, что хуже, библиотека. А заодно, как Сергей похвалялся мне, он лишил невинности не вполне взрослую воспитанницу Друскиных, «купая ее в ванне». Рассказывая, он вытащил у себя из-под одежды довольно толстую стопку книг и предложил мне парочку редких сборников: «Бери. Остальное я все равно пропью». Я поколебался, решив было хоть что-то вернуть эдаким кружным путем Друскину, но передумал, потому что не желал даже на время принимать краденое.

Я не провожал Сергея в эмиграцию. О его перелете на Запад рассказывались фантастические истории, но излагать их с чужих слов я не собираюсь. Замечу лишь, что все эти эпизоды так и не вошли в последующую прозу Довлатова, во многом автобиографическую, хотя он подобными материалами пользовался, не щадя себя. Видимо, в том состоянии он всего и не помнил.

Оказавшись по своему беззастенчивому и естественному западничеству в Америке, Довлатов должен был влиться в американскую жизнь, почувствовать себя как рыба в воде. Но не тут-то было... Когда мы встречались то у него, то у меня (оба жили в разных «продолжениях» Нью-Йорка), Сергей признавался, что английский язык для него тяжеловат, затруднителен, и он предпочитает, чтобы подрастающая дочка была бы его представительницей в англоязычном мире. Он бросил выпивать, говорил, что

как перед спонсором, так и перед подписчиками. Когда я спросил у Довлатова, почему они так несурово раздувают нормальные успехи какого-нибудь зубного техника, получившего разрешение практиковать, и его жены, поступившей всего лишь на курсы программистов, он как-то по-накатанному ответил: «Как и у советских газет, у нас есть лозунги. Только они другие. Один из них: «Эмиграция должна иметь своих героев!» Кажется, это был наш последний разговор о газете, но еще замечу, что позволял он себе и марктовенские резвости: например, интервью с американкой (еще одно «Интервью!») о российских мужчинах. Ответы были точные и выдавали незаурядное знание предмета, а с фотографии почти по-американски улыбалась — нет, не та же, но другая из вышеупомянутых ленинградских дам. Все интервью было довлатовской выдумкой, шуткой для посвященных.

В 1981 году в Лос-Анджелесе была устроена дискуссия русских эмигрантских писателей на тему «Две литературы или одна?». И я помню, как Наум Коржавин, полемизируя с Довлатовым, тогда редактором «Нового американца», привел ему в упрек некоторое сходство с журналисткой столетней давности. А именно: после убийства императора Александра II был предпринят полицейский опрос всех газет, в том числе популярной газеты «Копейка». На вопрос московского полицеймейстера о политическом направлении редактор ответил: «Кормимся, ваше превосходительство...» Нет ли тут параллелей?

На это Довлатов почти без заминки ответил, что — да, пускай будет сходство, или даже, так сказать, скотство, но он вполне гордится тем, что задал корму в инакоязычной стране 23 русским журналистам.

Еженедельник в конце концов закрылся.

Довлатов умер. В России вышел его трехтомник, в Филадельфии публикуются письма и воспоминания о нем.

«Хеппи-энд»: он наконец осуществил свою мечту, стал литературным профессионалом.

Шампэн, Иллинойс